Юрий БОНДАРЕВ

О ПОВЕСТЯХ ЮРИЯ ДОДОЛЕВА

Книги Юрия Додолева написаны были от первого лица – от искреннего лирического "я". Это исповедь человека, возвращающегося в свое прошлое, в послевоенные 40-е годы, время прекрасное и трудное – время переломов от неостывших ощущений войны к мирному, гражданскому быту, непривычному, полузабытому, как бы непрожитому детству, прерванному четырьмя годами фронта.

По возрасту Юрий Додолев принадлежал к тому немногочисленному поколению прошедших войну писателей, которые к началу 70-х в своих книгах уже сказали о себе и времени 40-х годов с большей или меньшей силой.

И казалось бы, что добавить к уже написанному и известному можно было лишь детали, углубляющие или в чем-то уточняющие характер, особенности, этнографию, хотя бываемой пользу. Однако книги Додолева не плелись покорно в хвосте признанного художественного образца, они прибавили к нашему познанию эпохи нечто новое.

Наше поколение вернулось с войны не с душевной пустотой и потерянностью идеалов, не с отчаянием, что испытали герои Ремарка и Генриха Беля. Мы возвращались с праздничным ощущением начала собственной жизни.

Она, эта долгожданная, много раз мысленно прожитая в окопах мирная жизнь, только начиналась. И в своем сознании многие из нас тогда хотели вернуть прожитое, школьное время, напоминавшее покойное, чистое и ясное апрельское утро с радостной тишиной подметенных улиц; с теплыми от солнца подоконниками, с невесомо планирующим в прозрачном воздухе голубиным пером – сладчайший сон детства, прерванный войной.

Но прошлое, беззаботное, детское, вернуть было невозможно – за четыре года войны все изменилось, навсегда ушло в дымку невозвратного прошлого, остались лишь счастливые воспоминания самой детства. Герой этот не сумел сразу найти свое место в сложной, объединой жизни. Как не сразу могли найти свое место писатели-фронтовики, чьи из которых был Юрий Алексеевич Додолев... Светлая ему память.

Нам мучительно трудно было забыть довоенные годы, и реальность о ее житейскими трудностями, неустроенностью, карточками, поношенными ватниками, перенаселенными квартирами была суровым бытом – и, сердцем пытаясь возвратиться в давнее апрельское утро, мы долго и неуверенно вживались в эту новую реальность.

Герой первой повести Юрия Додолева "Что было, то было" Георгий Нырков – один из тех, кто, налегко пройдя сквозь фронт, устойчиво сохранил в себе наивность и непосредственность школьника, даже почерпнутая из книг романтическая мечта о море не вытравила огненными ветрами. И это одна из причин его душевной неудовлетворенности, именно это сознание того, что после возвращения с фронта к поискам обетованной земли детства. Герой этот не сумел сразу найти свое место в сложной, объединой жизни. Как не сразу могли найти свое место писатели-фронтовики, чьи из которых был Юрий Алексеевич Додолев... Светлая ему память.

Сергей ЕСИН

ТОЧКА В БИОГРАФИИ

Он и был очень деликатным человеком. Я бы даже не сказал, что он таким казался, в жизни он был с громким голосом, широкой походкой, с несколько экзальтированным и нервным жестом. Он все время куров, в течение всей жизни не изменяя одному сорту – "Беломору". В жизни он был не очень удобным человеком: все время говорил правду, даже как бы не спрашивая его о обстоятельствах. А кому и когда нужна правда?

В молодости мы работали с ним вместе в газете "Комсомольская правда", в соседних отделах. Чрезвычайно высокий, чрезвычайно худой вдобавок все время доказывал чью-то правоту. Он сидел в группе писем. Мне это казалось тогда скучной работой, а только догадывался, что здесь человеческие судьбы, что здесь еще материал для будущего писателя.

Все мы тогда не были похожи на писателей. На футболистов, на ребят с заводов, на тех самых, которые ехали на целину или на другие подвиги, куда звал комсомол. Но вот Владимир Орлов – тоже из того же комсомольско-правдинского коридора – опубликовал свой знаменитый "Голый арбуз" в журнале "Юность". Я еще не знал, что и нам с Додолевым "Юность" станет родной. Додолев еще совсем, по-вторую, не напоминал писателя. Ёж, обычный парень из толпы, даже не элита газеты, а туда, ближе к ее подвалу, к фундаменту, куда приходят письма, и где бывется настоящая жизнь: народ, он же читатель.

А я работал в отделе литературы и искусства, этакая газетная аристократия: мы связаны с жизнью уже в ее рафинированном, очищенном от запаха пота и грязи виде.

Собственно, по-настоящему я встретился с Юрием Алексеевичем во время Совещания молодых писателей Москвы. Я был старостой семинара и из горкома комсомола носил пачки рукописей нашим руководителям. Их было трое: Юрий Бондарев, Семенов, который всегда и прекрасно писал про охоту и собак, и Николай Панов – "Прощайте, скалистые горы". Двоих тоже уже нет.

Я помню, Юрий Бондарев, когда я пришел к нему домой на Ломоносовской с пачкой рукописей и публикаций, спросил меня: "Что-нибудь стоящее есть?" И я, скорее чтобы потрафить прижизненному классику, тянул в военную публицистику Додолева в "Смене". Но все это было неслучайно. Я почему-то до сих пор помню эти додолевские картины дождя, солдата, лежащего в грязи с окуренной вытяжкой новобранца; прибалтийскую реку, которая тоя для счастья и обетской, и русской, и ощущение мира. Впрочем, тогда я еще сравнительно недавно закончил службу в срочной армии. Пограничные воспоминания!

А Юрий Додолев был фронтовик. Последний раз он захожал из мне летом в институт, принес свою книжку "Биография", и вот тогда-то, когда я рассматривал довольно длинную дарственную надпись, я вдруг боком сознания отметил: какой деликатный этот высокий, весьма худощавый, стриженный Додолев! Знает, сколько я читаю, как занят, как личная жизнь личное время разорвана на части.

"Сергею Есину, моему давнему приятелю. Этой книгой я, что называется, "завязал", поставил последнюю точку у своим стилистическим ремеслом. "Просто жизнь" ты рецензировал в "Юности", в "Биографии" прочти "кусочек", отмечанные рукой, а рассказ осилишь. Твой... Москва, 21 марта 1996 года".

Это одна из дат уже навсегда ушедшего от нас писателя. Я осилил "Биографию", осилил рассказ, перечитал знакомую повесть.

Юра Додолев никогда не писал, как бы сейчас сказали, в жанре "фэнтези". Он писал только то, что очень хорошо знал и очень хорошо прочувствовал. Собственно говоря, в его жизни было три вехи: его фронт с ранением, подвигом солдата, мукой и воспоминаниями послевоенных дней, рождение сына и любовь, детство. Вокруг этих трех болевых точек характера прокипели все слова писателя. Слова чрезвычайно простые, он вообще мастерски складывал простые слова, так, что в сознании навеки отпечатывались картинки, воспоминания золотой школьной поры.

Тогда мы чувствовали в себе две исключающие друг друга возрастные категории – романтичность недавних мальчиков и грубоватую прочность зрелых мужчин, дыхание смертями обойденных, хлебнувших в окопах жизненного опыта через край.

Сейчас, на расстоянии, мне кажется, что определяет в нем, раненомаю, как ненадолго было сказать о войне то, чего не говорил до тебя никто. В "Юности" вышло с Додолевым печатали Борис Васильев, редактором "Юности" был Борис Полевой, сам Юра вышел в литературу из семинара Юрия Бондарева, собственно, ставшего впоследствии каждая новая публикация Анатолия Ананьева и Григория Бакланова... И среди этих имен имя Юрия Додолева. Я "Юности" дал три рассказа: "Что было, то было", "На Шаболовке в ту осень", "Огненная Дубица", "В мае сорок пятого" – эти повести, я уверен, остались в памяти каждого, кто их прочитал. Секрет Юрия Додолева – в только ему присущей теплой интонации, характерной для поколения навыки, открытых, замечательных людей, воспитанных в убеждении, что братство, равенство, честность действительно существуют, а благородство всегда должно торжествовать над подлостью и злом.

Мне кажется, именно из этой убежденности в том, что честность и прямота не могут, не имеют права не восторжествовать, проистекало неумение Юрия скрывать или хотя бы вуалировать, маскировать свои мысли. Он всегда выказывал то, что думал. О ходу, не дожидаясь реакции собеседника, обозначал свою позицию. Чем, конечно же, сильно себе вредил. Писательский мир – мир особый. Дипломат порой приучает здесь скорее, чем подлинный талант. Помню, как на Пицунде, в Доме творчества, Юра обнаружил, что многие номера заняты какими-то неизвестными личностями, и возмущался:

– Как, писателям отказывают в путевках, а этим дают!

И отправился по этажам с ревизией, с проверкой. Чем могла закончиться такая инспекция? Юру предупредили. Он не успокоился. Тогда его попытались охолонить силой. Подкарауили, ударили... Но и после этого он не оставил своих попыток восстановить справедливость.

Видимо, это фронт научил его невозможности компромисса с теми, кого он не уважал, не ценил, а презирал.

То, что в жизни проявлялось как резкость, нетерпимость, в творчестве странным образом превращалось, преобразовывалось в застенчивость и даже нежность. К своим героям, к читателям. Одним из первых (если не самым первым в то время) Юрий Додолев предпринял попытку осмыслить войну с точки зрения религиозной. Судьба фронтовика, сделавшегося священником, видно, лет через лучше, чем Юра, но вот в публикациях своих так же смел и бескомпромиссен, как его отец в быту. За такие публикации, каяке позволял себе Женя, не гладят по головке, в какой-то период Евгений стал популярен своего отца, про него говорили, спорили, осуждали и хвалили, но ему грозили и большие неприятности. И вот в полночь, за полночь у меня раздавались телефонные звонки: это Юра сходил с ума от того, что Женя не появился вовремя дома – не случилось ли с ним чего, есть основания опасаться нападения... Юра искал заблудших, которые бы заступились за Женю, – чтобы его не выгонял из редакции, чтобы ему не выносили выговор, чтобы не наказывали сурово: во всю мальчишескую голову в начале пути, и ему можно искать будущее. Он гордился сыном.

– Я буду звонить на самый верх, я пойду на самый верх, я им скажу, я фронтовик, мне нечего терять, я инвалид, они не имеют права меня не выслушать, он написал правду!

Так он бился, хлопотал, защищал и отстаивал своего невзрослого мальчика. Можно сказать, это был его второй фронт.

Юра был гордый, независимый человек. Не хотел, чтобы видели его слабым, больным. Хотя физические его мучения, подозревал, были порой нестерпимы. В наступившей новой действительности он себя не нашел, но не жаловался, а тихо и с достоинством сошел в сторону, как бы скрылся в тени. С самой ранней весны до поздней осени жил на даче, возделывал огород.

– Ты что, пишешь? – спрашивал я.

Он отвечал:

– Не могу работать. И, знаешь, не хочу. С утра так навкалывешься... Пищевать, разогреешь котлету – себе, собаке, а потом как начнешь есть, посмотришь: что то собака мисговато получается, и полюктеты у нее обтрепались... Такой нервный нарт нет.

Он не терпел на присутствия духа, ни чувства юмора.

Один из последних его дней рождения мы встречали вдвоем – в новой квартире, в Кузьминках. Было много дорогих заграничных напитков и мало телефонных звонков-поздравлений.

Та ненависть, Великая Отечественная война, с которой меня связывали несколько лично переживших ее фронтовиков, и, конечно, в первую очередь, Юра, становилась мощней. Но мы с Юрой его даже не знали. Даже не чувствовали. И потому выплили за книги Додолева – не как за учебные пособия и свидетельства очевидца, оставленные для новых будущих поколений, а как за некий предварительный итог жизни, в которой еще много чего напишется, сложится, получится, напечатается...

Андрей ЯХОНТОВ

НА АРГУНОВСКОЙ, В ТО ЛЕТО

Недавно вдруг осознал, что та Великая Отечественная, которая была для меня и моего поколения – войной последней, на очень долгие времена – последующие. Что мы, мальчики, в сознании которых, дожив до быть, существует как нечто очень далекое и неясное. Так нами воспринимались первая мировая или Отечественная 1812 года... Потому что для них, молодых, гораздо ближе и больнее – Афган, Чечня, Таджикистан, бои возле Белого дома. Столько всего наслоилось...

О той Великой Отечественной, которая нынче отодвинулась в неясную дымку, я сознаю сегодня больше гордостью, болью, "радостью со слезами на глазах", в многое узнавал из книг Юрия Додолева и разговоров с ним. Мы познакомились в Минске, на писательской конференции, посвященной тридцатилетию Победы, сразу перешли на "ты", хотя разница в возрасте была ощутимой. Но как-то сразу между нами установились очень простые и открытые отношения. Ездили на кружах Славы, в Хатынь, в Могилев... А потом, по возвращении, перезванивались, встречались в журнале "Юность", где были напечатаны лучшие Юрины повести... Это была та знаменитая "Юность", выходившая тиражом миллионным тиражом, публикуя в "Юности" свои произведения сумасшедшую известность. Юрий Додолев был очень, очень популярен. И на его дних рождения 17 июля – еще в прежней квартире на Аргуновской – собирались известные, знаменитые люди. Именно здесь я впервые увидел автора еще не опубликованного Я "Альтиста Данилова" Владимира Орлова, автора, потребовавшего мне на всю жизнь "Лестницы" Руслана Киреева, сюда приходил печально закончивший свою жизнь Валерий Гейдеко с своими рассказами, сюда приходил крупным партийным функционером Виктор Степанов.

Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, как ненадолго было сказать о войне то, чего не говорил до тебя никто. В "Юности" вышло с Додолевым печатали Борис Васильев, редактором "Юности" был Борис Полевой, сам Юра вышел в литературу из семинара Юрия Бондарева, собственно, ставшего впоследствии каждая новая публикация Анатолия Ананьева и Григория Бакланова... И среди этих имен имя Юрия Додолева. Я "Юности" дал три рассказа: "Что было, то было", "На Шаболовке в ту осень", "Огненная Дубица", "В мае сорок пятого" – эти повести, я уверен, остались в памяти каждого, кто их прочитал. Секрет Юрия Додолева – в только ему присущей теплой интонации, характерной для поколения навыки, открытых, замечательных людей, воспитанных в убеждении, что братство, равенство, честность действительно существуют, а благородство всегда должно торжествовать над подлостью и злом.

Мне кажется, именно из этой убежденности в том, что честность и прямота не могут, не имеют права не восторжествовать, проистекало неумение Юрия скрывать или хотя бы вуалировать, маскировать свои мысли. Он всегда выказывал то, что думал. О ходу, не дожидаясь реакции собеседника, обозначал свою позицию. Чем, конечно же, сильно себе вредил. Писательский мир – мир особый. Дипломат порой приучает здесь скорее, чем подлинный талант. Помню, как на Пицунде, в Доме творчества, Юра обнаружил, что многие номера заняты какими-то неизвестными личностями, и возмущался:

– Как, писателям отказывают в путевках, а этим дают!

И отправился по этажам с ревизией, с проверкой. Чем могла закончиться такая инспекция? Юру предупредили. Он не успокоился. Тогда его попытались охолонить силой. Подкарауили, ударили... Но и после этого он не оставил своих попыток восстановить справедливость.

Видимо, это фронт научил его невозможности компромисса с теми, кого он не уважал, не ценил, а презирал.

То, что в жизни проявлялось как резкость, нетерпимость, в творчестве странным образом превращалось, преобразовывалось в застенчивость и даже нежность. К своим героям, к читателям. Одним из первых (если не самым первым в то время) Юрий Додолев предпринял попытку осмыслить войну с точки зрения религиозной. Судьба фронтовика, сделавшегося священником, видно, лет через лучше, чем Юра, но вот в публикациях своих так же смел и бескомпромиссен, как его отец в быту. За такие публикации, каяке позволял себе Женя, не гладят по головке, в какой-то период Евгений стал популярен своего отца, про него говорили, спорили, осуждали и хвалили, но ему грозили и большие неприятности. И вот в полночь, за полночь у меня раздавались телефонные звонки: это Юра сходил с ума от того, что Женя не появился вовремя дома – не случилось ли с ним чего, есть основания опасаться нападения... Юра искал заблудших, которые бы заступились за Женю, – чтобы его не выгонял из редакции, чтобы ему не выносили выговор, чтобы не наказывали сурово: во всю мальчишескую голову в начале пути, и ему можно искать будущее. Он гордился сыном.

– Я буду звонить на самый верх, я пойду на самый верх, я им скажу, я фронтовик, мне нечего терять, я инвалид, они не имеют права меня не выслушать, он написал правду!

Так он бился, хлопотал, защищал и отстаивал своего невзрослого мальчика. Можно сказать, это был его второй фронт.

Юра был гордый, независимый человек. Не хотел, чтобы видели его слабым, больным. Хотя физические его мучения, подозревал, были порой нестерпимы. В наступившей новой действительности он себя не нашел, но не жаловался, а тихо и с достоинством сошел в сторону, как бы скрылся в тени. С самой ранней весны до поздней осени жил на даче, возделывал огород.

– Ты что, пишешь? – спрашивал я.

Он отвечал:

– Не могу работать. И, знаешь, не хочу. С утра так навкалывешься... Пищевать, разогреешь котлету – себе, собаке, а потом как начнешь есть, посмотришь: что-то собака мисговато получается, и полюктеты у нее обтрепались... Такой нервный нарт нет.

Он не терпел на присутствия духа, ни чувства юмора.

Один из последних его дней рождения мы встречали вдвоем – в новой квартире, в Кузьминках. Было много дорогих заграничных напитков и мало телефонных звонков-поздравлений.

Та ненависть, Великая Отечественная война, с которой меня связывали несколько лично переживших ее фронтовиков, и, конечно, в первую очередь, Юра, становилась мощней. Но мы с Юрой его даже не знали. Даже не чувствовали. И потому выплили за книги Додолева – не как за учебные пособия и свидетельства очевидца, оставленные для новых будущих поколений, а как за некий предварительный итог жизни, в которой еще много чего напишется, сложится, получится, напечатается...

Альберт ЛИХАНОВ

НЕ ЗАМЕТИ, ЗИМА, НАШИ СЛЕДЫ, или ПОСМЕРТНЫЙ ПОРТРЕТ ПИСАТЕЛЯ

Не люди умирают, а миры.
Е. Евтушенко.

Все чаще я останавливаю себя на мысли, что жизнь имеет свои особые времена, как существует времена года, и вот теперь мы все бредем по зимней дороге пурженстыми сумерками. Дует ветер, тутся друг о друга, издавая стон, деревья, стоящие обочь, валит снег, и едва каждый поспевает сделать шаг, как след его стуки заметает, заносит. Невзжно, где мы обратимся, русские люди разных нравов и характеров: в теплых, солнечных краях, дыма, может, на экваторе, что обыденно, к примеру, для моряков, или на знобком севере, в фуштатном зале с угодливыми лакеями, лукаво подчеркивающими вашу, с неба упавшую, состоятельность, или в стылой пустой горнице – следы всякого из нас заметает снег всепнежного забытья, словно прослушанный кем-то нарочно. Нам будто говорят: ну, были вы, были, спору нет, а теперь забудьте, и снег этот, и ветер не стихнут, пока не заслепят всех вас, до последнего.

И дело здесь вовсе не в смене поколений, что есть естественный круговорот природы, всякое нет. В том-то и парадокс, что пурга эта неистственная и значит собою жажду забвения, поспешное самоуничижение, бездумное неверие самим себе, беспамятство, комиссионную уценку ценностей, безумную и бессмысленную в своей всеобщности перелицовку морали. И напрасно прозветающие на этой всеобщей, до горизонта, свалке попадают, что они обманули черта и взяли Бога за бороду, увы, на сваках, как известно, не жарят благородные существа, а лишь одни только вороны, да шакалы, да издичавшие собаки, способные убить друг друга, но неспособные не спеть, не возрадоваться, ни обалдеть иного, ни создать нечто во благо всех – только вить.

Читаешь схожие объявления – непременный круглосуточный гарнир к нашему столу: купи полюсок, итальянскую сантехнику, заморские штаны, невиданную еду, квартиру, дом, – и думаешь: ну – купил, а что дальше?

Дальше – что? И почему продавливала Америка, которую чуть не каждый мог ставят нам теперь в качестве образца цивилизации, столь же, как и мы, неумела и бестолкова, когда речь об одиночестве, отчуждении, нелюбви, болезни?

Ну, худо было нам с нашими надеждами, а стало ли лучше без всяких надежд? И нет ли в самой природе надежды человека на лучшее святой обманности, ведь всю ночь, всю ночь, как научили термины "прагматизм", чем надежды – вообще все надежды – кончаются.

Но без надежды нельзя, нет. И когда в позвонил ему поздравить, чтобы поздравить наконец, потому что больным номер был запаралелен с ординаторской, он сказал, что ему сделали уход, "завтра операция", и согласился со мной, когда я пообещал, пожелав ему удачи, что дорога до него денька через три-четыре, когда он вернется из реанимации.

Легко согласился. Надеялся, хотя в послёднюю нашу встречу сказал очень по-мужски, как бы между прочим, среди других торопливых слов: "Ты знаешь, мне кажется, отсюда не выкарабкаться".

Я позвонил через три дня, потом через четыре, потом звонил его сыну, но телефон не отвечал, а когда добрался до заведующего больничным отделением, то сказал мне: он умер под Новый год, а третьего его скорочили.

Се ля ви, такова жизнь, говорят французы, но я уточню: такова наша новая жизнь. Сын постесняется звонить в новогодние праздники, а сразу после похорон уехал, газеты же не сообщают о смерти даже писателей, а писательское, так сказать, сообщество, прежде называвшее Союзом, пользовалось так же, как Союз большой или же ослабло до этнического неприличия, при котором нынче уж и смерть не заметишь, просыпанный кем-то нарочно. Нам будто говорят: ну, были вы, были, спору нет, а теперь забудьте, и снег этот, и ветер не стихнут, пока не заслепят всех вас, до последнего.

Я отчетливо ощущал, как происходит в Юре невидимая миру борьба. Потом он затих, будто бы примерил. К чему? Вроде по его же поводу, вывешивал самоотчет. И вряд ли что рассчитывал. Он был не таким. Расчет, расчетливость, мне по крайней мере, не была в нем известна. Он примерял в себе такой же, желанный, вероятно то, что прежде было – давно – свои собственные знания о себе и переживший жизни.

Я иногда думаю, что все предшествующие да в последующие его взрывы так же, как много лет назад, когда вся, казалось, еще впереди, и когда мы жили надеждами. Только место было другое. И оба мы знали, что с ним. И оба – каждое до отдельности, каждый – с Юрой Алексеевичем Додолевым выкарабкается отсюда.

Мы простились, мне казалось, совсем ненадолго. Мне только предстояла операция, но я, поколебавшись, на сказал ему об этом.

И вот я листаю его книги, Юрий Додолев на обложке. И названия: "Сорвы после войны", "Что было, то было", "Просто жизнь".

Странный, громкоголосый, неуравновешенный человек, не говоривший, что ему нравится, но так-то легко и просто – в отличие от Юрия Додолева, а в ведь и сам только начинал. Мне лишь не нравилось, что Юра использует чужое мнение как некую тяжесть, что ли, как частицу власти, которую теперь содействовала ему.

Бондарев рассказал о Додолеве в "Юности" – его рукопись быстро прочитали, и Полевой, бывший редактором, публикацию освятил.

Юрина удача ошеломляла прежде всего его самого, и это можно было понять. Бакланут Додолева, состоявший "Комсомолкой" в самом тупиковом месте – отдел писем, вдруг порвал всеобщее воображение вниманием к нему мэтров и публикацией в "Юности". Что там ни говори, а бездарев в "Юности" не напечатают.

Додолев победил судьбу: размашистый, длинный, худой, крикливый писатель оказался своей судьбе. Еще немного – его приняли в Союз писателей. Еще немного – вышла первая книга. Еще немного – он уходил на вольный хлеба.

Где-то между этими удачами, произошел наш разрыв. Из самого близкого друга в один миг я стал врагом. Горько пишу: он стал врагом, когда его нет, но ведь не сказать – значит солгать. Где-то в литературных клоаках он, наивная душа, подобрал ком грязи, предназначенный мне.

Наша дружба кончилась в один миг, хотя рождалась месяцами и длилась годами.

Далекие ближние... Наверное, так можно назвать нас, обозначить наши отношения.

Жизнь, может быть, состоит из цепи обманов и самообманов, однако настает сорая пора прощения. Когда, если и не до конца, но ты находишь причину.

Юрий Додолев – впрочем, ведь он не один такой – был человеком преодоления. Правда, одолевал он сам себя. Весь его предшествовавший расклад любой вариант мог предположить, только не литературу. Впрочем, я убежден, именно на этих основаниях и может возникнуть правда о жизни, заверенная на бумагу. Алкирное желание сочинять отдаривает множество, салонностью, неистреемо к человеку и его судьбе.

Юрий Алексеевич еще был и уникальным типом, увы, вырождающимся вообще, а сегодня – особливо. Безоглядный, безудержный, предпочитающий реальное выдумке, он жил чувством, распирающим его. Все его книги – это история чувств в обстоятельствах войны и послевоенной жизни.

Он и сам по себе – персонаж, чрезмерно яркий для нынешней прагматичной жизни, один из тех, что, наверное, по-земному **Тютчеву** когда-то восклицнуть: "Умом Россию не понять!"

Мы изредка переговаривались по телефону. Даже, кажется, виделись раз-два – в клубе или на улице. Но не говорили – лицом к лицу – целых два десятка лет.

Я знал, что он изредка, он – что я. Читал о нем, и он обо мне. Случайно узнал, что он болен. Разыскал больничный телефон, приехал, договорились.

Он лежал в онкологии, но не производил впечатления тяжелого. Был, мне казалось, все таким же худым, но бодрым и говорливым.

Рассказывал о сыне, открыто им гордясь, а особенно доброжелательно – о жене сына. Получив, в додолевском стиле, как бы мимоходом, выдавал самотерзания. И вряд ли что рассчитывал. Он был не таким. Расчет, расчетливость, мне по крайней мере, не была в нем известна. Он примерял в себе такой же, желанный, вероятно то, что прежде было – давно – свои собственные знания о себе и пережитой